

А. Олар

АНТУАН БАРНАВ

ГЛАВА ИЗ КНИГИ «ОРАТОРЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Т.1. Учредительное собрание. М., 1907. С.290-319.

Веб-публикация: Eleonore и редакторы сайтов Vive Liberta и Век Просвещения ©

Мы не станем пересказывать здесь детально биографию Барнава, которая находится повсюду, в частности в *Causeris du Lundi* Сент-Бёва и в *Esquisses historique et litteraires* де Ломени.¹ Вот, однако, те факты, которые могут лучше уяснить красноречие Барнава.

Рожденный в Гренобле в 1761 г., сын адвоката, принадлежа, по матери своей, к местному дворянству, протестант, он был, следовательно, воспитан в либеральном городе, опередившем революцию, в религии, подвергавшейся преследованиям и закалившей его характер, в семье, где любовь к слову была профессиональной, матерью, которая, по рождению своему, не могла желать полного общественного переустройства. Нисколько не пытаюсь дать на основании разных сопоставлений одно из ребяческих и легких объяснений жизни замечательных людей, как не отметить, однако, что условия, в которых рос Барнав, находятся в полной гармонии с качествами и недостатками, проявленными им впоследствии, - его любовью к свободе, энергичностью его характера, его красноречием и, наконец, узостью и робостью его политических взглядов?

Г-жа Барнав внушила своему сыну любовь к политике, находясь сама в оппозиции к губернатору провинции при условиях, оставшихся памятными в Гренобле. Она сама воспитала своих двух сыновей и двух дочерей, так как тогда все школы были закрыты для протестантов. О том, в каком духе она их воспитывала, можно судить по следующему месту из письма Барнава, посланному им своим сестрам незадолго до своей казни: «Воспитание ваших детей должно быть предоставлено моей матери. Она вселит в них мужественную и открытую душу, которая делает человеком и которая была для меня и моего брата больше, чем все наше остальное воспитание».

В семнадцать лет он сражался на дуэли за своего младшего брата, которого скоро потерял. Светский, эlegantный, ловкий, прекрасный собеседник, красивый юноша, несколько слишком важный для своих лет, он, несмотря на свою внешнюю фривольность, отдается чтению и много пишет. Адвокат в девятнадцать лет и отчасти вопреки своей воле, он боится, чтобы в нем не слишком чувствовался адвокат: «Занимаясь, как следует, своей профессией, улавливая ее практический дух, я буду стараться, - пишет он в своих интимных заметках, - чтобы вкус мой, идеи, характер и нравы мои не испортились».

Очень заботясь о сохранении чистоты своего вкуса и тонкости своего ума, он после каждой защиты сам себя судит в своем дневнике. Так, выступив раз защитником малолетних, он отмечает, что защитительная речь его была слишком расплывчата, что он много повторялся. «Я столько говорил о своих детках, - пишет он, - что судьи, далеко не жалея их, побили бы их, быть может, - настолько они им надоели». Но он не отчаивается, сам себя поучает, что надо говорить более кратко, более сжато, настаивая на существенном, и надеется достигнуть этого работой, упражнениями на дому. - Многословие явится, действительно, недостатком его политического красноречия. Но не удивительно ли, что этот совсем еще молодой человек так верно судит о себе, сохраняя все же веру в самого себя?

Уполномоченный в 1783 г. своим сословием произнести речь при закрытии парламента, он говорит о разделении властей, основываясь на Монтескье, но не копируя его. Он был депутатом знаменитой Ассамблеи в Визиле, в которой, как мы видели, Мунье играл столь блестящую роль и решения которой, принятые единогласно, составили наказ 24 депутатов Дофинэ. Это единогласие показывает, что в этой провинции оба привилегированных сословия имели те же идеи о желательных реформах, что третье сословие, и что последнее желало сохранения политического и социального порядка в той же мере, как духовенство и дворянство. Вот почему Барнав, когда после путешествия в Варенн он проявил ревностный роялизм, мог претендовать, что он оставался верен своим наказам. Но он следовал скорее букве, чем духу их, так как при возвращении в Дофинэ он был роялистом еще тогда, когда его сограждане уже направлялись бессознательно к республике.

II

Политика Барнава в Учредительном Собрании была та же, что и большинства последнего до 21 июня 1791 г. Он старался установить во Франции конституционную монархию, перестроив все социальное здание и сохранив лишь королевскую власть.² Между тем как коллега его, Мунье, надеялся улучшить старый порядок, он желал уничтожить его и заместить порядком вещей, аналогичным тому, какой существовал в Англии. Одна лишь королевская власть должна была, по его мнению, устоять при этом всеобщем крушении; но эта власть должна была быть могущественной, уважаемой, неоспоримой. В королевской власти Барнав видел гарантию против восстановления привилегированных сословий; трон был для него самим фундаментом свободы; разрушить его - значило бы вызвать распущенность и идти навстречу диктатуре.

Другим мотивом в пользу сохранения королевской власти Барнав считал самое ее давность. Она имеет за себя тот авторитет, который дает время, она является результатом физических и моральных условий, при которых развилась нация; желать изменить эти условия - значит, по его мнению, заниматься безумным делом. «Воля людей, - пишет он к концу своей карьеры, - не создает законов; она бессильна или почти бессильна по отношению к форме правления. Природа вещей, социальный уровень, которого достиг народ, земля, которою он обладает, его богатства, его потребности, его привычки, его нравы - вот что распределяет власть, предоставляет ее, смотря по времени и месту, одному, нескольким, всем, и разделяет ее в различных пропорциях».³

И Барнав беспрестанно хвастает тем, что он считается с фактами и советует с аффектацией практическую политику, при случае, как и Мирабо, высмеивая метафизиков и метафизику. Это составляет даже характерную черту его красноречия,⁴ источником которого являются здравый смысл и чувство действительности. Ошибочно, быть может, с его стороны слишком часто напоминать об этом. Так, в своей речи о королевской неприкосновенности он заявляет нам, что не принадлежит к тем людям, которые «в политике занимаются романтизмом, потому что легче работать таким образом, чем приносить истинную и позитивную пользу своей стране».⁵ И дальше: «Господа, люди, желающие совершать революции, знают, что они не делаются метафизическими изречениями; таким образом можно увлечь некоторых кабинетных личностей, несколько человек, ученых в геометрии и неспособных к политике: их можно, конечно, кормить абстракциями; но толпу, в которой нуждаются, без которой нельзя сделать революции, ее можно увлечь только реальностями, ее можно тронуть лишь ощутительными выгодами».⁶ А в речи 11 августа 1791 г. об избирательном законе он презрительно говорит о «тех, которые излагают здесь метафизические идеи, потому что у них нет идей реальных, которые окутывают нас туманом теории, потому что они совершенно незнакомы с основными правилами позитивной политики».⁷

Каждый оратор имеет, таким образом, любимую мысль, к которой он возвращается вопреки своей воле и которую он повторяет очень часто почти в той же форме. Найти эту фразу - значит часто дать характеристику красноречия и политики человека. Это относится именно к Барнаву. Восхваление опыта, высмеивание теории - вот его излюбленная тема. И этот ораторский прием, которым он злоупотреблял, не был неприятным для членов Учредительного Собрания: эти горячие патриоты боялись казаться нерассудительными, неблагоприятными, увлекающимися. Самой тонкой лестью, какую можно было употребить в отношении к этой юной Ассамблее, было высмеивать перед нею недостатки юности. И Барнав, бывший в общем ее наиболее любимым оратором, лстыл ей вечной апологией опыта и холодного рассудка. Он сам себя обманывал: не был ли он менее, чем кто-либо, галантирован от увлечений сердца и ума, он, который не сможет устоять перед улыбкой Марии-Антуанетты?

Барнав с самого начала отделяется от своего земляка Мунье, не отвечает на авансы Мирабо и комплименты Сийеса, столь редкие, однако, и столь ценившиеся, и связывается тесной дружбой с Дюпором и Ламетами, дружбой, которую ничто не охладит и от которой он никогда не откажется, даже ради спасения своей жизни. «Никогда, - восклицает он перед революционным трибуналом, - никогда я не снизойду до такой подлости, чтобы отречься от своих друзей. Я любил и продолжаю любить Ламетов. У них, конечно, были недостатки, и я не был последним, упрекавшим их за это. У них сохранялся остаток дворцовых манер: неспособные щадить посредственность, злоба которой, однако, столь опасна, они безжалостно высмеивали толпу маленьких людей, чем-то мнивших себя среди великих политических движений. Но сколько я знал за ними глубоких и истинных качеств: прямоту, неизменная лояльность, искренняя привязанность к своей стране, свободная от всякой низкой зависти любовь к выдающимся людям, благородное стремление творить добро, ненарушимая верность своим друзьям».⁸

Эта тесная дружба с Дюпором и Ламетом дала Барнаву возможность говорить со знанием дела на самые разнообразные темы. Свои речи он подготовлял вместе со своими друзьями, и это объясняет солидность и разнообразие его красноречия. Благодаря этому плодотворному сотрудничеству, он избегал (часто, если не всегда) опасности, угрожающей импровизаторам, именно - той банальной и пустой легкости, которой они не замедляют довольствоваться, между тем как других уж это больше не удовлетворяет.

При первом его появлении на трибуне, когда увидели, что он говорит без заметок и корректно, он произвел известный эффект. Последующие речи его, кроме нескольких докладов, были тоже импровизированными.⁹ Это превосходство его над другими ораторами создало ему многочисленных врагов. Его нашли несносно кичливым, он показался слишком красивым мужчиной, и его прозвали Барнавом-Нарциссом. Его истинный патриотизм приняли за амбицию, и ему приписали следующие слова: «Если я отделюсь от Мунье, то это потому, что я должен создать себе собственное положение». В сущности же роялисты с самого начала боялись его, а монархисты желали иметь его на своей стороне. «Это - молодое дерево, - говорил Мирабо, - которое будет мачтой судна».

В первое время он пользовался большим влиянием. 14 мая он был избран комиссаром третьего сословия для ведения переговоров о слиянии сословий. 12 июня он составляет адрес королю, которому оказывают предпочтение перед адресом Малуэ, признанным слишком хвалебным. «Между нами есть такие, - воскликнул по этому поводу один депутат, - которые позволяют очаровывать свое зрение; дай Бог, чтобы эта зараза не коснулась их сердца». А, между тем, вот в каких выражениях Барнав излагал чувства Ассамблеи к королю: «Депутаты ваших общин... клянутся отдаться всецело тому, чего потребует важная миссия, возложенная на них; они клянутся содействовать изо всех сил благородным начертаниям, которые ваше величество желает осуществить для блага Франции, и, чтобы лучше успеть в этом, чтобы дух, воодушевляющий вас, государь, мог постоянно пребывать среди них и сохранять святую гармонию между их желаниями и вашими намерениями, они умоляют ваше величество позволить тому, кто будет выполнять функции старшины и председателя их ассамблеи, приближаться непосредственно к вашей священной особе и давать вам отчет об их решениях и мотивах, которыми они будут руководствоваться».

Такова была любовь депутатов к королю, доходившая до энтузиазма и выражающаяся в этом адресе, который, однако, предпочли как менее льстивый, со всеми формами религиозного культа. Что сказать о государе, который не сумел использовать такую преданность и такую любовь и который малодушием своим и лукавством оттолкнул от себя столь верную его власти и столь доверявшую его личности нацию?

Король не принял даже депутации. Председателю ответили, что его величество охотится. За презрением последовали скоро угрозы и акты насилия. Зала Генеральных Штатов была окружена войсками, и Барнав выразил негодование Ассамблеи, протестуя против этого в следующих словах: «Странно и непонятно, что нации желают закрыть доступ в национальную залу. В этом величественном месте обсуждают ее интересы, решают ее судьбу, и мы, следовательно, должны работать на ее глазах, должны действовать на виду у нации. Окружить нас гвардейцами, как то делают, значит - поступить неуважительно по отношению к нации, оскорбить ее в лице ее представителей. Можно ли свободно совещаться, когда кругом войска? Или мы среди лагеря? Следует ли после этого удивляться, что умы разгорячаются и озлобляются, что народ восстает и что волнения становятся частыми? Всюду водворились бы спокойствие и порядок, если бы представители нации не были более окружены солдатами».¹⁰

IV

Известны знаменитые слова Барнава по поводу убийства Фуллона и де Бертье: «Столь ли уж чиста та кровь, которая льется!» Аристократы бурно возмущались по этому поводу, забывая, что их газеты говорили ежедневно в сто раз худшие вещи. Малуэ видит в этом «несмываемое пятно»,¹¹ и вошло в моду приписывать Барнаву самые кровожадные инстинкты: его называли «гиеной Дофинэ, живодером, палачом Барнавом, Барнавом-Нероном».¹² И в наши дни Сент-Бёв писал: «Непростительное и роковое слово... Нужна была вся его жизнь и в особенности его смерть, чтобы искупить его».¹³ Что за заказное негодование! Сколько шуму из-за бутады, вырвавшейся в момент крайнего раздражения! Надо ли было отказаться от революции, потому что убили каких-то Фуллона и Бертье? - вот мысль Барнава, как он сам ее впоследствии разъяснил. Надо, впрочем, привести его собственный рассказ об этом. Признавая, что вышеприведенные слова были действительно им произнесены¹⁴ и что они были бы совершенно непростительны, если бы были сказаны сознательно и намеренно, он продолжает:

«Я всегда считал одним из важнейших качеств человека способность сохранять хладнокровие в момент опасности, и я даже отношусь с известным презрением к тем, которые проливают слезы, когда надо действовать; но, признаюсь, презрение это переходит у меня в глубокое негодование, когда я вижу, что чувствительность является лишь театральным приемом.

Вот как было дело:

Раньше, чем в Ассамблее говорили об этом событии, Демёнье показал мне письмо, в котором ему сообщали о нем; я был сильно растроган и уверил его, что, как и он, я сознавал необходимость положить конец подобным беспорядкам. Немного спустя Лалли выступил со своим обвинением. Можно было ожидать, что он будет говорить о Фуллоне, о Бертье, о состоянии Парижа, о необходимости принять меры против убийств. Но он говорил о себе, о своей чувствительности, о своем отце и кончил тем, что предложил прокламацию.

Тогда я поднялся. Признаюсь, что я был крайне раздражен и что чувство, которое я выразил, увлекло меня, быть может, слишком далеко. Я сказал, что события эти опечалили меня, но что я не думаю, чтобы из-за них следовало отказаться от революции; что при всех революциях бывают несчастья, что надо, быть может, радоваться, что в данном случае дело обошлось небольшим числом жертв и т.д.; что, сверх того, законодателям больше подобает изыскать действительные средства для прекращения зла, чем заниматься оханьем; что та часть народа, которая совершает убийства, навряд ли почувствует все красоты прокламации и будет удержана столь слабыми мерами и что, если желают предупредить кровавые бедствия, угрожавшие, казалось, всему королевству, то надо поторопиться вооружить собственников для защиты от разбойников и временно значительно увеличить власть муниципалитетов. В этом духе я составил проект и декрет. Таков точно переданный факт, которым ненависть и партийное пристрастие воспользовались с таким успехом, что я с тех пор встречал многих лиц, которые, составив себе полное мнение о моей личности на основании этих нескольких слов, удивлялись, что не находят во мне ни физиономии, ни голоса, ни манер кровожадного человека».¹⁵

К словам относительно крови Фуллона и Бертье Малуэ прибавляет в своих мемуарах фразу, с которой Барнав обратился к нему на заседании 25 января 1791 г. по поводу раздачи хлеба народу, которой занимался монархический клуб, бывший тогда центром контрреволюции. Вот что Малуэ говорит об этом: «Вы раздаете народу отравленный хлеб», - сказал он мне. Этого было достаточно, чтобы вызвать мое убийство, что уж неоднократно пытались сделать в ту пору. Барнав не был, однако, убийцей; он не имел намерения низвергнуть монархию, и не в его интересах было пытаться сделать это. Это был горячий и самонадеянный молодой человек, претендовавший на славу создать во Франции свободу и шедший впереди до тех пор, пока преступления и общественные несчастья не отрезвили его, вызвав в нем угрызения совести».¹⁶

Вот теперь слова Барнава, как их передает *Moniteur*:¹⁷ «Между тем как одни, сожалея о нечестивых поступках, призывают священным именем религии, - образуется другая секта, ссылающаяся на монархическую конституцию; под этой коварной эгидой некоторые крамольники стараются вызвать среди нас раздоры и вовлечь граждан в ловушки, давая народу отравленный хлеб... (На правой стороне подымается сильное волнение. Мюринэ, Малуэ и некоторые другие члены хотят говорить, но им не дают). Теперь не время для того, чтобы говорить об этой коварной, вероломной и прискорбной ассоциации. (Волнение и крики на правой стороне усиливаются; слева на них отвечают аплодисментами. Каждый раз, как Мюринэ, Малуэ и другие члены желают говорить, аплодисменты удваиваются. Малуэ покидает свое место, устремляется на трибуну и говорит что-то Барнаву, очень оживленно жестикулируя)».

Я вполне признаю, что эти слова Барнава - резкие, агрессивные. Но считать, будто он желал убедить народ, что хлеб, который раздавал монархический клуб, был действительно отравленный - разве это не явная недобросовестность? Разве это не тот же прием, который был применен по поводу знаменитой фразы о крови и который состоял в том, что систематически старались уронить Барнава в глазах общественного мнения, приравнивая его к самым мерзким агентам погромов? Контрреволюционеры ежедневно говорили о нем, как о заранее намеченной жертве на тот день, когда они одержат победу, и газеты их толкали и твердили о том, что это повесят. Не извинителен ли гнев, когда приходится иметь дело с подобными врагами?

Барнав не принял очень заметного участия в дебатах о конституции. Он, однако, высказался за veto, и его, кажется, сильно занимал вопрос о двух палатах. Как Мирабо и как вся левая, он голосовал за единую палату, но не произнес при этом речи. Его истинная мысль по этому вопросу находится в изданных после его смерти писаниях, из которых видно, что он был сторонником создания высокой палаты. «Функция второй палаты, - говорит он, - состоит в том, чтобы придать вес и медлительность машине, примирить обе власти и воспрепятствовать подчинению одной из них другой». Почему же он не голосовал в этом духе? Он объясняет нам это следующим образом:

«Английский и американский бикамеризм... были для нас одинаково невозможны. Английская конституция выработалась в то время, когда существовало громадное различие между парами королевства и мелким дворянством; последнее, присоединившись к общинам, слилось с ними и перестало составлять отдельное сословие; весь аристократический элемент конституции сосредоточился в нескольких семьях и устанавливал не столько привилегированное сословие в нации, сколько наследственную магистратуру. Но о подобной комбинации, каковы бы ни были ее преимущества или неудобства, нечего было и думать; палата пэров может быть введена в конституцию событиями, но абсурдно считать, что ее можно создать. Со времени революции 14 июля вся Франция была равной, и даже до этой эпохи звание пэра королевства было лишь почестью; дворянство считало себя одним нераздельным сословием и легче согласилось бы пожертвовать своими привилегиями в пользу народа, чем расстаться с ними ради того, чтобы они были предоставлены небольшому числу избранных в ее среде семейств.

Что касается организации второй палаты наподобие американской, т.е. не наследственной и не основанной на родовых отличиях, то она возможна была в Америке, где эти отличия не существовали; но у нас опасались того, чтобы, найдя таковые, учреждение не сроднилось с ними, не дало им новую силу и не увековечило их».

Дальше Барнав доказывает, что не имело смысла учредить вторую палату с самого же начала, когда «инстинкт равенства отвергал ее», когда можно было быть почти уверенным, что она погибнет в «неизбежных революционных потрясениях», став потом навсегда невозможной; она должна быть завершением революции, должна быть учреждена тогда, когда, наученный опытом и проникнутый любовью к порядку, народ увидит в ней средство против этих потрясений.¹⁸

В дебатах об организации суда Барнав желал ввести суд присяжных и для гражданских дел. Его речь, очень либеральная и проникнутая истинными принципами революции, удостоилась аплодисментов, но не убедила Ассамблею. Барнав требовал также, чтобы кассационный суд разъезжал по департаментам. В этом «странствовании» высшего суда он видел, как он выражается, гарантию для подсудимых. В это время революционный энтузиазм Барнава достигает своей наивысшей точки. Это же и время его наибольшей популярности.

VI

10 декабря 1789 г. на знаменитом заседании, на котором Тарже возвестил, что дело административной организации кончено, Барнав произнес речь против предложения Мирабо, желавшего установить, чтобы можно было быть членом какой-либо высшей Ассамблеи, лишь быв раньше членом низшей. Барнав очень хорошо понял тайную цель Мирабо, заключающуюся в том, чтобы предоставить выборные функции небольшому числу богатых людей, которые одни будут иметь досуг переходить последовательно из одной Ассамблеи в другую. Но интерес его речи заключается в озлоблении, с которым он относится к великому оратору. Особенно резко заключение:

«Если бы, чтобы уничтожить конституцию, достаточно было облечь противоположные ей принципы какой-либо моральной идеей и некоторой эрудицией, то предыдущий оратор мог бы надеяться произвести на вас эффект; но, к счастью, он приучил вас не поддаваться обаянию его красноречия, и нам неоднократно приходилось искать разума и правды среди элегантных острот, которыми он украшал свои речи. Ныне в этом представляется большая надобность, чем когда бы то ни было».

Он, в общем, называет Мирабо декламатором; он осмеливается даже вышучивать его, потому что проект его может быть применен только через десять лет, и получает следующую уничтожающую реплику: «Оратор как будто забывает, что, если риторы говорят для данного дня, то законодатели говорят для будущего».

Как видит читатель, оба оратора не щадят друг друга, из чего можно было бы заключить об их взаимной антипатии. Мирабо, однако, не ненавидел Барнава, публично выражал ему свое уважение и, как уже было сказано, делал ему авансы. Но Барнав уклонялся от последних, считая их компрометирующими. Он опасался, и, быть может, не без основания, что Мирабо желает завербовать его в свою свиту. Позволительно думать, что он чувствовал отвращение к гибкой совести и моральной распущенности того, в ком видели пока только авантюриста и к кому никогда не относились как к честному человеку. Барнав вел чистую жизнь, пользовался почетом, был сам себе господином и вырос в дружной и интеллигентной семье. И крайняя добродетель молодого человека не знает снисхождения, как вера не знает терпимости. К этой естественной антипатии примешивалась, несомненно, и некоторая зависть. Он чувствовал превосходство своего великого противника. Более честное, чем красноречие продажного трибуна, красноречие Барнава не имело источником возвышенную и рыцарскую добродетель Казалеса: это была, скорее, добродетель, близкая к земле, основанная на здравом смысле, буржуазная. Полеты Мирабо, его неожиданные образы, величественные жесты, увлекавшие Ассамблею, все эти качества гения были неизвестны Барнаву. Хотя он и импровизировал, но он не умел поражать. Смелых выражений, столь удававшихся Мирабо, удачных сочетаний слов, тривиальных вольностей у него нет. Свои солидные и ясные мысли он излагает спокойно, легким и изящным языком. Мирабо сказал о нем жестокое слово: «в нем нет божественного огня».

Прямота и здравый смысл Барнава доставили ему, однако, раз блестящую победу над Мирабо. Это случилось, когда последний, получив уже вознаграждение от двора, произнес речь о праве войны и мира, стараясь увлечь Ассамблею на ложный путь, на который он сам стал. Вот его софизмы были безжалостно разоблачены и отвергнуты Барнавом. Так, он притворно смешивал начало враждебных действий с возникновением войны:

«Если бы начало враждебных действий, - ответил ему Барнав, - было равносильно возникновению войны между нациями, то объявлять ее не приходилось бы ни законодательной, ни исполнительной власти; право объявлять войну принадлежало бы в таком случае первому капитану судна, первому купцу, первому офицеру, который напал бы на кого-либо или ответил бы на чье-либо нападение».

Мирабо настаивал на причинах, приводящих представительные собрания к ошибкам и заблуждениям. А исполнительная власть? «Законодательное учреждение может впасть в ошибку, но оно исправит ее, так как его интересы те же, что и нации, между тем, как министр будет почти всегда ошибаться, так как его интересы не те же, что нации. Правительство, агентом которого он является, стоит за войну и действует, следовательно, против интересов нации; в интересах министра, чтобы война была объявлена, так как тогда приходится предоставить ему распоряжение громадными средствами, нужными для ведения войны, так как тогда власть его безмерно расширяется - он образует комиссии, назначает на множество должностей, научает нацию предпочитать славу побед свободе, меняет характер народа, располагая его к рабству, меняет также характер и принципы солдат. Доблестные солдаты, соперничающие ныне в патриотизме с гражданами, были бы проникнуты иным духом, если бы они следовали за королем-завоевателем, одним из тех героев истории, которые являются почти всегда бичом для нации».

Если правом этим будет располагать Законодательное Собрание, то войны будут и более редкими и более счастливыми по исходу. «Законодательное Собрание с трудом решится на войну. Каждый из вас имеет имущества, семью, детей, множество личных интересов, которые могли бы пострадать из-за войны. Законодательное Собрание будет, следовательно, реже объявлять войну, чем министр; оно объявит ее лишь в том случае, если торговля будет оскорблена, преследуема, если будут затронуты самые дорогие интересы нации. Войны будут тогда почти всегда удачными. История всех времен показывает, что они бывают таковыми, когда их предпринимает нация. Последняя идет в таком случае на войну с энтузиазмом, не щадит своих средств и богатств...»

Такие основательные рассуждения доставили Барнаву победу. Он не менее удачно доказал и всю несостоятельность аргумента, основанного на министерской ответственности. Правительства ведут войны, чтобы освободиться от ответственности. «Перикл предпринял Пелопоннесскую войну, когда он увидел, что не может дать отчета. Вот эта ответственность».

Известно, как Мирабо ответил ему на последнее замечание: «Он упомянул о Перикле, предпринимавшем войну, чтобы не давать отчета; не казалось ли, слушая его, что Перикл был королем или деспотическим министром? Перикл, умевший льстить народным страстям и вовремя вызывать себе аплодисменты своими щедротами или щедротами своих друзей, увлек на Пелопоннесскую войну... кого? Национальное Собрание Афин».

При смерти Мирабо Барнав вел себя очень достойно, посетив умирающего и приняв участие в депутации, посланной Якобинским клубом. Когда же депутация парижского департамента предложила Ассамблее оказать Мирабо почести Пантеона, то Барнав поднялся и благородно заявил: «Детали, на которых мы вынуждены были бы остановиться, если бы в данный момент возникли дебаты об этом, нарушили бы и умалили глубокое чувство, которым мы проникнуты. Это чувство судит Мирабо, так как оно вызвано воспоминанием об услугах, оказанных им свободе и отечеству. Я предлагаю декретировать, что он заслужил почести, которые будут оказаны нацией великим людям, усердно служившим ей...»

Мы рассказали выше о дуэли Барнава с Казалесом и не станем возвращаться к этому инциденту. Барнав всегда сожалел об этой дуэли и позже, по поводу поединка Шарля де Ламета и герцога де Кастри, публично осудил эти ссоры, недостойные политических деятелей. «Если есть верное средство предупредить акты личной мести и вырвать из рук граждан оружие, направляемое ими против их сограждан, так это - вооружить против них закон. Пусть наказывают за оскорбления, - и скоро перестанут наносить их. Дайте вы, депутаты, пример сдержанности в этой Ассамблее, и скоро она водворится повсюду».¹⁹

Мы не будем говорить о речах, произнесенных им по поводу беспорядков в г.Нанси, и о его проекте обложения пенсий и доходов с государственных бумаг: они ничего не добавляют к тому понятию, которое мы могли уже составить себе о его красноречии. То же самое можно сказать о его речах относительно колониальных дел. Он, как известно, был даже довольно реакционен в этом случае, воспротивившись делу эмансипации негров, пока эмансипации этой не потребуют белые. Он оказался, таким образом, в странном разногласии с патриотами, которые, верные принципам 1789 г., отстаивали права чернокожих. Озлобленное общественное мнение ответило ему напоминанием, что друзья его, Ламеты, имеют громадные владения на острове Сан-Доминго, и к тому же был пущен слух, что Барнав имеет виды на доходное место губернатора этого острова. Вторая гипотеза была абсурдной; можно ли сказать то же самое о первой? Не был ли Барнав, для которого дружба являлась культом, ослеплен в этом случае своей любовью к Ламетам?

Это было первым камнем преткновения на его пути, первым ударом его популярности. Бриссо, член общества *Amis des Noirs*²⁰, обрушился на Барнава с такой яростью, что последний, находясь уже на эшафоте, не мог еще оправиться от нанесенных ему ран. Не имел ли он каких-либо оправданий? Он был уверен, что внезапная эмансипация черных вызовет гибель французских колоний. Не он ли воскликнул: «пусть скорее погибнут колонии, чем принцип». Однако это знаменитое и апокрифическое выражение приписывали ему в той же мере, как и Робеспьеру, хотя против этого говорят и его поведение и его презрение к «метафизике» и чувствительности, являющееся характерной чертой его красноречия.²¹

С этого момента его популярность в Якобинском клубе падает столь же быстро, как популярность Ламетов. Против него начинают выдвигать несправедливые обвинения. Распространяют, напр., слух, что его речи в защиту рабства вызвали повышение цены на сахар. Он отвечает на эти наветы, но без успеха. «Говорят и, быть может, всегда будут говорить, - пишет он в своих *Reflexions politiques*,²² - что, благодаря мне, вздорожал сахар. Напишите десять томов, вы убедите вполне тех, которые знают истину, но больше никого...»

В то время, когда он подвергался таким резким нападкам, он совершил ошибку, перестав показываться в Ассамблее и ограничиваясь занятиями в комитетах. Та же ошибка должна была впоследствии быть роковой для Дантона и для Робеспьера. Когда он появился в Национальном Собрании, он уже не пользовался прежним уважением, и усилия его вернуть себе общественное расположение оказались напрасными. Его речь о регентстве вызвала аплодисменты, но не подняла его престижа. О своем душевном состоянии в ту пору, о своих ошибках и неудачах он оставил нам следующие чистосердечные признания:

«Те, которые занимались общественными делами и, по опыту, знают не только всю прелесть популярности, но и то, какую силу она дает, чтобы творить добро, простят мне, быть может, что я тогда кое-чем пожертвовал ради нее... Эта эпоха моей общественной жизни является единственной, когда я не был вполне самим собою. Одна ошибка вела меня к другой. Я воспротивился отъезду теток короля, я вел ожесточенную кампанию против монархического клуба, я принял, правда, незначительное, но я все же принял некоторое участие в несчастном деле присяги священников. По роковому стечению, которое было или естественным результатом влияния крайних мнений на дух народа, или, быть может, делом тех, которые пользовались каждой моей ошибкой, чтобы сделать меня ненавистным, некоторые из моих пылких предложений сопровождалась немедленно народными движениями; с той же откровенностью, с какой я признаю свои ошибки, я могу уверить, что я не только не принял в них никакого участия, но что они более всего другого способствовали появлению у меня сознания о ложном пути, на который я стал...»

VIII

Барнава часто называли генеральным адвокатом Учредительного Собрания. Ему, действительно, случалось брать слово последним и резюмировать дебаты. «С некоторого времени, - пишет Камилл Демулен, - на важных заседаниях Национального Собрания оставляют всегда на десерт речь Барнава, и после него дебаты прекращаются». Эта почти официальная роль, эта почетная обязанность, которая ему принадлежала как бы по праву, это полное согласие с большинством придавали его красноречию характер выдержанной важности и авторитетной уверенности. Все это прекратится или изменится после путешествия в Варенн, которое трансформировало этого человека, бывшего более впечатлительным, чем он желал казаться.

Известно, что Ассамблея, узнав об аресте короля в Варенне, делегировала троих своих членов, Барнава, Петиона и Латур-Мобура, чтобы привести короля. Три комиссара ехали в той же карете, что королевская семья; они, по признанию Петиона, не покидали друг друга и никто из них не мог вести тайной беседы с беглецами.²³ Легенда, однако, ухватилась за этот инцидент и припутала к нему самые романтические интриги. Барнав будто бы воспылал любовью к королеве, которая не осталась к нему равнодушной, и ими будто бы был выработан во время путешествия целый план контрреволюции. Весь этот роман улетучивается перед утверждением Петиона, что он не терял из виду Барнава, о чем он и заявил, в оправдание последнего, в Якобинском клубе. Нет, Барнав не нарушил своего мандата, не изменил Ассамблею; но, между тем как Петион обращался грубо с королем и королевой, Барнав был с ними крайне внимателен и почтителен. Он ласкал королевского сына, выказывал почтительное смущение, какое вызывала в нем его миссия и, что должно было особенно нравиться, ни в чем не нарушал придворного этикета. Когда же королевскую семью оскорбляли или когда ей угрожали, Барнав выскакивал из кареты и, насколько это было возможно, разгонял враждебную толпу. Ему взамен выказывали уважение, обращались с ним как с человеком *comme il faut*, и он был вознагражден за свой *savoir-vivre*. Но как Мария-Антуанетта могла не пожелать привязать к себе, употребляя это слово в политическом смысле, наиболее видного члена Национального Собрания? Она у Мирабо нашла «ангельское лицо». Какое же отвращение мог ей внушить этот молодой человек с гордой осанкой и голубыми глазами, все поведение которого так приятно опровергало его ужасную репутацию?

Оставим же романы в стороне и признаем, что то, что случилось, неизбежно должно было случиться. Было естественно, чтобы королева жадно ухватилась за возможность привлечь или обезоружить важного противника. Было также естественно, чтобы Барнав, досадуя на то, что популярность ускользала от него, и униженный эпиграммами и сарказмами Бриссо и памфлетистов, был польщен благосклонностью лиц, наиболее способных оценить его изысканные манеры, и, ослепленный самолюбием, стал сочувствовать их несчастью, забыл их лживость и лукавство, замечая лишь печаль, красоту и слезы Марии-Антуанетты. Прибавим, что, конечно, не Людовик XVI мог его пленить: обескураженный грубым обращением Петиона, этот равнодушный толстяк замолк, ел и спал.

Каковы были последствия этого обольщения Барнава? Верно ли, что он стал корреспондентом и советником королевы? Г-жа Кампан утверждает это и дает по сему поводу настолько обстоятельные детали, что нельзя допустить, чтобы все в ее утверждениях было ложью. С другой же стороны, Барнав в следующих выражениях протестовал перед революционным трибуналом: «Я клянусь своей жизнью, что никогда, абсолютно никогда, не имел ни малейшей переписки с двором, что никогда, абсолютно никогда не переступил порога дворца».²⁴ Противоречие между рассказом г-жи Кампан и клятвой Барнава желали объяснить тем, что он переписывался с королевой не непосредственно, что им обоим служил общим почтовым ящиком карман одного придворного и что он писал ей в третьем лице. Но такое бесчестящее Барнава объяснение основано на ложном предположении, что он желал спасти свою голову, между тем как в действительности он на суде держал себя, как человек, решившийся пожертвовать своей жизнью. Дантон оповестил его, что письмо его к Конвенту доставит ему свободу. Он отказался писать. Ему двадцать раз представлялась возможность бежать, а он оставался в тюрьме. Зачем бы он стал лгать, если он нарочно губил себя излишней откровенностью, признав, напр., свою антипатию к людям, стоявшим тогда у власти?

Несомненно, однако, что после этого путешествия Барнав стал служить интересам короля. И для этого ему не нужны были ни секретные договоры, ни таинственные свидания, ни переписка украдкой. Он вернулся из Варенна с новыми чувствами, испытывая нежную привязанность к беглецам, которых он привел вопреки своей воле. Видя горе женщины, он подумал, что революция ушла слишком далеко, и пожелал затормозить ее, как выражается Мишле. Он искренно считал, что поведение его не изменилось. Он был монархистом и таковым остался. Только до путешествия в Варенн он был главным образом сторонником королевской власти, после же путешествия он стал сторонником короля. К верности учреждениям присоединяется в его душе антиреволюционная верность лицам. Действительно, даже в 1791 г. было позволительно соединять любовь к революции с культом королевской власти. Но был ли совместим патриотизм новых людей с верностью королю, который сам не был верен ни людям, ни вещам, который изменял своим присягам в тот самый момент, когда он их возобновлял, являясь тем более преступным, что он от рождения был человеком честным?

Но если Барнав ошибался, то он оставался лояльным. Рассказы аристократов, обвиняющих его в том, что его преданность королеве шла слишком далеко, являются партийным вымыслом; куртизаны стремились обесчестить даже тех, коими они наиболее пользовались.

Красноречию Барнава несколько поэтому не повредила его новая роль. Слова его дышат еще искренностью, и в чувствах, которые внушают ему его речи, нет лицемерия. Из его процесса мы узнаем, что он свободно беседовал с министрами и, не скрывая этого, давал им советы, которые он считал наилучшими. Не встречаясь и не переписываясь с ними, он стал поборником короля и королевы и боролся за них открыто, при ярком свете, говоря всем, что наступило время восстановить и укрепить королевскую власть и веря в своем искреннем заблуждении, что революция сделана.

Его первой заботой было сблизиться с монархистами, с беспристрастными. Если бы Мунье был еще тогда во Франции, то между обоими земляками прекратился бы теперь политический разлад. Барнав обратился к Малуэ и предложил ему образовать консервативный центр, чтобы утвердить королевскую власть на самых широких основаниях, обещавшись притом воспользоваться пересмотром конституции, чтобы «урезать» ее насколько это возможно будет. План этот не удался, хотя Малуэ и согласился не него. Отныне слово и влияние принадлежали крайней левой и крайней правой, республиканцам и абсолютистам, так как бегство короля и последствия этого бегства оправдали антипатии одних и других к конституционной монархии.

Непопулярность Барнава между тем все возрастала. Доклад, представленный им по возвращении из Варенна, был лишь маскированным оправданием Людовика XVI, и это не столько тем, что Барнав в нем говорил, сколько тем, о чем он умалчивал. Этот доклад был составлен в благоприятном для королевы духе и производил именно такое впечатление. Через некоторое время Барнав и еще 300 депутатов вышли из Якобинского клуба и основали Фельянский клуб.

Скоро он произнес свою длинную речь о неприкосновенности короля, которая должна была окончательно погубить его и которая впоследствии послужит для Революционного трибунала гораздо большей уликой против него, чем знаменитый документ, найденный в Тюльери. Вот наиболее существенные места этой речи²⁵, которую мы цитируем по тексту логографической газеты:

«...Некоторые люди, намерений которых я не желаю осуждать и за которыми, в большинстве случаев, я никогда не подозревал дурных побуждений; некоторые люди, старающиеся, быть может, заниматься в политике романтизмом, потому что легче работать таким образом, чем приносить своей стране истинную и позитивную пользу, занялись отыскиванием примеров для нас на другом полушарии и нашли в Америке народ, занимающий, при незначительной плотности населения, громадную территорию, не имеющий ни одного могущественного соседа и границы которого составляют леса, обладающий нравами, простотой, всеми чувствами почти юного народа, занятого почти исключительно земледелием и другими близкими к природе работами, делающими людей естественными и чистыми и предохраняющими их от тех искусственных страстей, которые ведут к революциям; они увидели, что на всей этой обширной территории существует республиканское правительство, и заключили отсюда, что такое правительство может быть подходящим и для нас. Эти люди, намерений которых, повторяю, я не касаюсь, оспаривают ныне принцип неприкосновенности; но если верно, что на нашей земле живет громадное население и что на ней имеется множество лиц, занимающихся исключительно умственной работой, которая развивает воображение и порождает амбициозность и любовь к славе; если верно, что окружающие нас могущественные соседи обязывают нас составлять единую массу, чтобы быть для них непреодолимыми; если верно, что все эти условия действительно существуют и не зависят от нас, то несомненно, что единственно подходящим для нас правительством является монархическое. Если страна населена и обширна, то имеются лишь два средства, и политическое искусство не нашло иных, чтобы дать ей солидное и постоянное существование: или вы сорганизуете отдельно ее части, предоставив каждой из них часть правительственной власти, и вы установите таким образом прочность в ущерб единству, могуществу и прочим выгодам, присущим большой и однородной ассоциации; или же, если вы желаете сохранить национальное единство, вы будете принуждены поместить в центре непреложную силу, которая, будучи возобновляема всегда на основании закона и являясь постоянной преградой для честолюбцев, сможет с успехом сопротивляться потрясениям, соперничеству, быстрым колебаниям громадного населения, волнуемого всеми страстями, которые порождает старое общество.

Ответственность должна быть двоякая, потому что король может совершить двоякого рода преступления: гражданские и политические. Что касается гражданского преступления - отмечаю, что это не относится к обсуждаемому нами ныне вопросу, - то нет никакого сравнения между преимуществом, которое представляет для народа сохранение спокойствия и существующего порядка правления, и той выгодой, которую могло бы представить наказание подобного преступления. Что должно тогда сделать правительство для поддержания порядка и нравственности? Оно должно только предупредить, чтобы король, совершивший важный проступок, не мог повторить его; но оно, конечно, не обязано принести в жертву частной мести благо народа и установленную форму правления. Итак, по отношению к гражданскому преступлению монарха, конституция может установить лишь одно средство - я имею в виду предположение сумасшествия; она, конечно, набрасывает в этом случае завесу на проходящее зло, но, таким образом, предупредив мерами соответствующими случаю безумия, повторение преступления, она сохраняет форму правления и обеспечивает народу мир, который, в противном случае, мог бы ежеминутно быть нарушен не только постановлениями суда, но и обвинениями, возбуждаемыми против государя.

Что касается политического преступления... то я замечу раньше всего, что наши противники странным образом ошиблись в этом пункте. Они говорят, что неприкосновенность относится к выполнению исполнительной власти. В действительности же это - единственная функция, на которую не распространяется неприкосновенность; не может быть неприкосновенности по отношению к функциям исполнительной власти, и именно поэтому конституция, объявляя короля неприкосновенным, совершенно лишила его возможности пользоваться непосредственно этой стороной своей власти; никакое распоряжение исполнительной власти не может исходить от него одного; оно всегда должно быть контрассигновано; всякий акт в области исполнительной власти, подписанный лишь им одним, не имеет никакого значения, никакой силы, и всякий человек, выполняющий таковой, является виновным. Благодаря этому, ответственными могут быть лишь агенты власти, и не в этой области надо искать неприкосновенность короля за политические преступления, так как, не имея возможности действовать в этой области, он не может и провиниться.

Действительная неотвеченность за политические преступления распространяется на дела, посторонние исполнительным и конститутивным функциям. И эта неприкосновенность прекращается лишь с лишением престола. Король может перестать быть неприкосновенным, только перестав быть королем: конституция должна предусмотреть тот случай, когда исполнительная власть становится неспособной и недостойной управлять; она должна предусмотреть случаи, когда король может быть лишен престола, и должна ясно определить их, ибо иначе король, нуждающийся в полной независимости, стал бы зависимым от того, кому принадлежит решить вопрос о лишении престола.

...Ненаказуемость за политические преступления может прекратиться у нас лишь с лишением престола, каковое может иметь место только при случае, предусмотренном и формально определенном конституцией...

Если таковы принципы, которые мы признавали до сего дня и которыми мы должны руководствоваться в нашем решении, то их легко применить в данном обстоятельстве...

Те, которые желают принести конституцию в жертву своему чувству злобы против одного человека, кажутся мне способными пожертвовать свободой из энтузиазма к другому; и так как они предпочитают республику, то теперь уместно сказать им: каким образом можете вы желать республику для нации, которую всегда легко прощаешь поступок человека, имеющего громадную возможность оправдаться и, как бы о нем ни судили, пользовавшегося долгое время любовью народа, для нации, говорю я, которую, как вы надеетесь, поступок этого человека может побудить изменить нашу форму правления? Каким образом вы не опасаетесь, что, в виду своего непостоянства, тот же народ, проникнутый энтузиазмом к какому-либо великому человеку и признательностью за его великие деяния (ибо, как это вам известно, французская нация умеет больше любить, чем ненавидеть), не низвергнет в один прекрасный день вашу глупую республику? Как - скажу я им, - вы в данный момент возлагаете столько надежд на непостоянство народа и вы не чувствуете, что в этом непостоянстве, если бы ваша система могла удалась, лежит и залог ее разрушения, что скоро народ, поддавшись иному увлечению, установил бы на место разрушенной вами конституционной монархии самую ужасную тиранию, ту, которая возникает против закона, которая вызвана ослеплением?..»

Указав дальше на то, что боязнь иностранных держав не должна влиять на решения Национального Собрания, так как никакая держава не в силах лишить Францию завоеванной ею свободы, Барнав заканчивает свою речь горячим призывом прекратить революцию:

«Всякая перемена была бы ныне роковой, малейшее продление революции было бы губительным. Кончим ли мы революцию или возобновим ее? - вот вопрос, выдвигаемый теперь национальным интересом. Если вы один раз отнесетесь недоверчиво к конституции, то где граница, у которой вы остановитесь и, главное, у которой остановятся наши преемники?..»

Ныне, господа, все должны чувствовать, что интересы всех требуют прекращения революции. Те, которые пострадали от нее, должны понять, что невозможно вернуться назад и что дело идет о том, чтобы остановиться; те, которые сделали ее и которые желали ее, должны понять, что она на исходе, что счастье их отечества, как и их собственная слава, требуют, чтобы она не продолжалась дольше. Все имеют одинаковый интерес, даже короли, если только глубокие истины могут иногда дойти и до них... Сами короли должны понять, что есть большая разница между примером великой реформы в области управления и примером уничтожения королевской власти, что если мы останавливаемся здесь, то они еще остаются королями... что новые события смогут иначе решить их участь и что, если они не желают принести свои реальные интересы в жертву напрасным надеждам, то окончание французской революции является также наиболее выгодным и для них».

Эта речь Барнава не была последней. Он принял еще участие в дебатах о пересмотре конституции и выступил против декрета, воспрепятствовавшего переизбранию членов Учредительного Собрания. Он в этом случае разошелся с большинством Ассамблеи и тем проявил большую политическую проницательность.²⁶ Этот пагубный декрет действительно скомпрометировал революцию и обусловил то, что она наполовину не удалась. Возникает вопрос, благодаря какому ослеплению члены Учредительного Собрания бросили свое дело и с легким сердцем пожертвовали им? Барнав объясняет следующим образом это чудовищное решение: «Правая сторона, - говорит он, - надеялась, что декрет о непереизбрании доставит большинство в Законодательном Собрании сторонникам ее системы или же подготовит гибель конституции, передав ее в неопытные руки; пять-шесть республиканцев, действовавших под внушением вождей, находившихся вне Ассамблеи, голосовали за исключение, чтобы освободить место для тех из их главарей, которые должны были доминировать в Законодательном Собрании. Большинство же членов левой руководствовалось значительно более мелкими мотивами: одни не надеялись быть переизбранными; других, утомленных долгими занятиями, ужасала мысль продолжить их; все были убеждены, что наиболее известные и наиболее влиятельные члены будут снова избраны, а декрет о непереизбрании, ставя всех в один ряд, успокаивал самолюбие одних, был удобен для утомленного состояния других и обратно вводил в толпу тех, за которыми надоело следовать и имена которых надоело слышать».

Х

По распусчении Учредительного Собрания большинство его членов впало в немилость и страдало от того, что оно лишилось всякого значения. Барнав оставался еще некоторое время в Париже. «На третий или четвертый день существования Законодательного Собрания, - рассказывает он, - я отправился посмотреть его. Все трибуны обернулись в мою сторону с видимым чувством доброжелательства, и если бы один человек начал, то, быть может, раздались бы общие аплодисменты. Три недели спустя, я вторично посетил его, и я был совершенно осмеян, особенно, когда я вышел через дверь Фельянского клуба».²⁷

Мы не последуем за Барнавом в Дофинэ и не станем рассказывать здесь об его аресте, его процессе и смерти. Подобный рассказ вышел бы за рамки нашей работы, да к тому же он имеется повсюду. Выше мы привели два отрывка из его защитительной речи, тот, в котором он открыто признает свою дружбу с Ламетами, и тот, в котором он клянется, что никогда не имел сношений со двором. Это - наиболее сильные места; остальное - тускло и тягуче. Речь эта - акт честности, если угодно - героизма. Но от такого человека и при подобных обстоятельствах можно было ожидать иного красноречия. Прибавим, что, составленная по заметкам, сделанным во время суда адвокатом Барнава, речь эта дошла до нас в искаженном виде.

Резюмируя теперь впечатление, которое произвело на нас красноречие Барнава, мы можем сказать, что им постоянно руководили здравый смысл и чувство справедливости. Ловкий диалектик, он, если не рассуждает кратко, то всегда рассуждает правильно. Ум редко утомляется следить за его аргументацией, столь хорошо связанной, столь хорошо расположенной. Его красноречие должно было вызывать у других чувство морального спокойствия, стремление к справедливости, должно было успокаивающе действовать на страсти. Никто не обладал в большей степени, чем он, искусством легко говорить правдоподобные вещи.

Однако его речи интересуют нас теперь меньше, чем речи Мирабо, Казалеса или аббата Мори. И это не потому, что они противоречат чувствам нашего времени, - еще очень недавно та политика, которую отстаивал Барнав, была, так сказать, у власти, - а скорее потому, что в них нет страсти и, следовательно, жизни. Его слово «светит, но не греет». Его рассуждения правильные, но трогают лишь наш ум. Он - «холодный Барнав», о котором говорит г-жа Ролан. Слогу его недостает силы и живости. Он часто путается и говорит длинными и туманными периодами. Он любит абстрактные выражения и не всегда свободен от многословия и банальности. Что же касается выражаемых им идей, то они не всегда принадлежат ему, а были ему внушены Дюпором и Ламетом, и если он не ограничивается простым повторением, а самостоятельно обрабатывает их, то суть все же неоднократно заимствована им у других. Он, одним словом, адвокат.

Современники ценили его, но никогда не восхищались им. То, что он импровизировал, удивило в первый раз, а затем к этому привыкли. В известные моменты оратор казался несколько бессодержательным и, несомненно, слишком легко удовлетворявшимся. Выйдя из заседания, на котором дебатировался вопрос о министерской ответственности, Камилл Демулен заметил, что речи патриотов (Барнав говорил в тот день) «слишком походили на гладкие и ненапудренные волосы». И он прибавляет: «Где был ты, Мирабо, с твоей изящной и густой шевелюрой?» Нет, легкость Барнава не доходила до посредственности, и он это доказал в тот день, когда он одержал победу над Мирабо. Но его красноречие не подымалось выше тех идей, которые он защищал; рассудительное, ясное, честное, оно было лишено колоритности и энергии. Забудем, оценивая оратора, его трагическую смерть и признаем, что в речах своих он никогда не трагичен, что он не разжигает, а успокаивает страсти, что он не создает, а излагает ходкие идеи, что он прекрасный debater на английский манер, но не первостепенный оратор. В заключение приходится повторить слова его великого соперника: «в нем нет божественного огня».

1) Оба эти писателя написали свои очерки на основании статьи, помещенной во главе сочинений Барнава (Paris, 1843, 4 тома) и принадлежащей Беранже (из Дрома), который получил самые точные сведения о Барнаве от его сестры. Недостаток его статьи тот, что она плохо написана и тяжела для чтения.

2) «...Я желал, - пишет Барнав в своей *Introduction a la Revolution francaise*, составленной им в тюрьме, - чтобы сделали не возможно больше, а возможно лучше; я считал и заявлял, что французская свобода может существовать только при монархическом правительстве, и право санкции я признавал характерным атрибутом монархии...»

3) В той же книге, из которой приведена эта цитата, т.е. в *Introduction a la Revolution francaise*, Барнав, как то справедливо замечает Жорес, значительно приближается к материалистическому пониманию истории. Прежде, чем приступить к фактам и делам самой революции, он следующим образом излагает в этой книге свой общий взгляд на ход истории:

«Напрасно бы старались составить себе правильное понятие о великой революции, пережитой Францией, рассматривая ее отдельно, вне связи с историей окружающих нас государств и предшествовавших нам веков. Чтобы судить о ее характере и указать на ее истинные причины, надо обратиться взглядом к прошлому, и понять, какое место мы занимаем в более обширной системе; только проследив общее движение, которое со времени феодального строя до наших дней заставляет европейские правительства последовательно менять свою форму, можно будет дать себе ясный отчет в том, до какого пункта мы дошли и какие общие причины нас туда привели.»

Без сомнения, революция в области правления, как и все явления, зависящие от страстей и воли человека, не могут быть подчинены постоянным и определенным законам, которые применяются к движениям неодоушевленной материи; однако, среди множества причин, совместное влияние коих вызывает политические события, имеются такие, которые настолько связаны с природой вещей, постоянное и правильное действие которых является настолько преобладающим над влиянием случайных причин, что чрез известный промежуток времени они почти неизбежно приводят к своим результатам. Это они почти всегда вызывают перевороты в жизни наций, и все мелкие события находятся в связи с их общими следствиями; это они готовят великие эпохи в истории, между тем, как второстепенные причины, которым их чаще всего приписывают, являются лишь непосредственными поводами...»

И в числе этих основных причин, определяющих ход истории, Барнав признает раньше всего экономическую структуру общества, - производственные отношения. «В первый период общественной жизни, - говорит он, - человек, добывая себе пропитание охотой, едва лишь знаком с собственностью: его лук, его стрелы, убитая им дичь, шкуры, которыми он покрывается - вот, приблизительно, все его имущество. Вся земля принадлежит всем. Политические учреждения, если только существует зачаток их, не могут тогда иметь своей основой собственность; демократия выражается в независимости и естественном равенстве; нужда в главаре при битвах порождает тогда первые элементы монархии; сила знания, всегда тем большая, чем масса населения более невежественна, вызывает там первую аристократию... аристократию, держащуюся на науке, которая повсюду предшествовала военной и имущественной аристократии... <...>

...Когда увеличение населения вызывает у человека потребность в более надежной и более обильной пище, то он, чтобы существовать, жертвует частью своей независимости и принуждает себя к более оседлым занятиям; он приручает животных, разводит стада, становится пастушеским народом. Тогда собственность начинает влиять на учреждения; человек, привязанный к своему стаду, не обладает больше всей независимостью охотника: бедный и богатый перестают быть равными, и естественная демократия больше не существует. Необходимость отстаивать и защищать собственность заставляет дать большую силу военной и гражданской власти; те, кому она принадлежит, приобретают богатства своей властью и, наоборот, богатствами своими увеличивают власть и утверждают ее в своих руках...

Наконец, так как нужды населения все увеличиваются, то человек принужден находить себе пищу в недрах земли; он перестает быть кочевником и становится земледельцем. Жертвуя остальной частью своей независимости, он, так сказать, связывает себя с землей, и для него становится обязательным постоянное занятие. Земля тогда распределяется между людьми, собственность распространяется не только на стада, но и на самую землю; ничто не является общим; скоро поля, леса, сами реки становятся собственностью; и право собственности, с каждым днем все более распространяясь, все более могущественно влияет на распределение власти.

Могло бы показаться, - продолжает дальше Барнав, - что простая жизнь исключительно земледельческого народа должна мириться с демократическим строем. Но опыт показывает, что аристократическая власть наиболее могущественна именно тогда, когда народ занимает ее только земледелием. Происходит это, - говорит Барнав, - от того, что при установлении собственности на землю уже существовали общественные неравенства и земля не была почти нигде разделена поровну, а там, где нет иного дохода, кроме земельного, то крупная собственность должна постепенно поглощать мелкую». Тот, кто владеет лишь небольшим клочком земли, часто нуждается в самом необходимом; он задалживается у богатого, который не замедлит отнять у него за долги поле а, так как, кроме земли нет иных источников существования, то богатый за кусок хлеба совершенно закабалит себе бедного и даже, если закон позволяет, откупить у него его свободу. «Земледелец жертвует, таким образом, всей независимостью, которую природа ему дала; земля налагает на него цепи, потому что она его кормит». Усилению аристократии способствует еще и характер занятий земледельца, который изолирует его и тем делает его бессильным, который вызывает у него косность ума, держит его в невежестве.

Возникновение движимой собственности, развитие промышленности и торговли готовят опять революцию в политических законах. «Новое распределение богатства вызывает новое распределение власти. Как земельная собственность возвысила аристократию, так промышленная собственность устанавливает власть народа». И Барнав с поразительной тонкостью анализирует процесс образования новой демократии в связи с новыми условиями экономической жизни. Но, проследив, таким образом, в прошлом эволюцию собственности, он считает образование движимой собственности последним словом цивилизации, не предвидит ее дальнейшей эволюции, не предполагает ее концентрации, как будто совершенно не замечает отрицательных сторон торгово-промышленного строя и совсем не считается с фактом порождения нового класса неимущих и обездоленных. *Прим. перев.*

4) «Барнав, - говорит Мишле, - совсем не казался человеком, следующим сердцу и воображению. Его постоянное самодовольство, его благородная, сухая и холодная речь нисколько не напоминали мечтателя. Он никогда не выставлял себя сентиментальным и впадал, скорее, в противоположную крайность (напр., в деле негров)...»

5) Journal logographique.

6) Ibid.

7) Journal logographique.

8) Oeuvres, т. II, стр. 384.

9) Бриссо говорит, что он заучивал свои речи наизусть (Memoires, т. III, стр. 156). Но встречаемые в них небрежности стиля как будто опровергают это утверждение.

10) Заседание 24 июня.

11) Memoires, т. I, стр. 328.

Vive Liberta и Век
Просвещения ©

12) Actes des Apotres, passim..

13) Lundis, т.II.

14) Это часто отрицали.

15) Oeuvres, т.I, стр.107

16) Malouet, Memoires, т.I, стр.328.

17) Текст Journal logographique, очевидно, неполон и был, быть может, изменен Барнавом. Выражения *отравленный хлеб* совсем не имеется в нем.

18) Introduction a la Revolution, стр.111.

19) Moniteur, заседание 13 ноября 1790 г.

20) В этом обществе участвовал и Мирабо. *Прим. перев.*

21) «В колониальном вопросе, - говорит Жорес, - революционная буржуазия очутилась между идеализмом декларации прав и самыми грубыми, самыми узкими классовыми интересами». Вот, в кратких словах, какова была колониальная политика Учредительного Собрания.

Революционный переворот, совершившийся во Франции, не остался, разумеется, без отклика во французских колониях, на Мартинике, Сан-Доминго и др. Белые поселенцы организовали там «Колониальные Ассамблеи», отказались подчиняться губернаторам, отменили привилегии метрополии для ввоза продуктов, устроились, одним оловом, совершенно автономно. Вместе с тем они требовали значительного представительства для колоний в Национальном Собрании. Но они не только не отказались от рабства, а еще решительно восставали против установления равноправия для свободных мулатов, среди которых многие были их коллегами по профессии, т.е. рабовладельцами. Но мулаты требовали себе избирательных прав, и рабы тоже заволновались. Белые упорно отстаивали свои привилегии и беспощадно преследовали всех сторонников отмены рабства и равноправия мулатов. Отсюда - многочисленные беспорядки в различных колониях, часто приводившие к кровавым столкновениям.

Национальной Ассамблее, в виду такого положения дел, пришлось заняться колониальным вопросом. Декларация прав, которую она выработала, как будто морально обязывала ее не только признать равноправие мулатов, но совершенно отменить рабство. Она уничтожила крепостной строй во Франции, она отменила все сословные различия, она признала людей равными, могла ли она явиться покровительницей рабства во французских колониях? Но рабы составляли главный капитал белых колонистов, и освободить всех рабов - значило нанести тяжелый удар колониальной буржуазии, часто родственными узами связанной с буржуазией метрополии. Отменить рабство - не значило ли это покушаться на частную собственность, решиться на частичную экспроприацию буржуазии? Положение буржуазного большинства Ассамблеи было поэтому крайне щекотливым, и оно долго отсрочивало обсуждение колониального вопроса. В марте 1790 г. вопрос этот был, наконец, поднят в Ассамблее, и последняя издала декрет, который гарантировал колониям известную автономию, регулировал отношения колоний и метрополии и объявлял «колонистов и их собственность под специальным покровительством нации». Этот декрет, предложенный Барнавом, утверждал, следовательно, институт рабства. Чтобы хоть сколько-нибудь скрыть вопиющее противоречие между этим позорным актом и ежедневно провозглашавшимися в Ассамблее принципами, прибегли к этому фиговому листочку, слову «собственность». Но декрет, кроме того, не определял в точных и ясных выражениях уравниваются ли мулаты в правах с белыми. Он глухо говорил о «гражданах» вообще. В разъяснение этого был через несколько дней издан циркуляр, устанавливавший, что мулаты и вообще свободные темнокожие пользуются избирательными правами. Но колонисты и слышать не хотели об уравнивании их в правах с темнокожими и нисколько не считались с этим циркуляром, Волнения в колониях не прекращались, и на Сан-Доминго произошло даже восстание мулатов. После новых дебатов по колониальному вопросу, Ассамблея в мае 1791 г. издала декрет, которым, на этот раз в точных выражениях, признавала избирательные права за темнокожими, родившимися от свободных отца и матери. Из числа полноправных граждан исключались, следовательно, и те свободные, отец или мать которых не были свободными. Что касается рабов (Ассамблея считала ниже своего достоинства употребит в декрете выражение *рабы* и обозначала последних словами «не родившиеся от свободных отца и матери»), то декрет заявлял, что «никогда» Законодательное учреждение не станет обсуждать вопроса об их политическом положении, если вопрос этот не будет поднят совместно всеми колониями. Ассамблея, таким образом, гарантировала рабовладельцам их «собственность» до тех пор, пока они сами не пожелают от нее отказаться.

Но и этот декрет, устанавливавший равноправие мулатов, не получил фактического применения, так как колонисты пустили в ход все интриги, чтобы воспрепятствовать этому. Они, между прочим, сами вызывали беспорядки в колониях, чтобы напугать Ассамблею. В конце концов, Ассамблея, перед тем как разойтись, уступила эгоизму и человеконенавистничеству белых поселенцев, и, по предложению опять-таки Барнава, отменила этот декрет, оставив даже свободных темнокожих в положении бесправных.

В своей колониальной политике Учредительное Собрание изменило им же самим провозглашенным правам человека ради грубых и узких интересов рабовладельческой буржуазии. *Прим. перев.*

22) Глава XXIX.

23) За исключением времени остановки в Fortesous-Jouarre, где, между тем как Петион разговаривал несколько моментов с madame Elisabeth, Барнав беседовал с королевой, «но, - пишет Петион, - как мне показалось, довольно равнодушно. Voyage de Petion au retour de Varennes. в *Memoires inedits de Petion*. 1866. В этом наивном рассказе честный Петион выказывает себя странно тщеславным и глупым.

24) Oeuvres, т.II, стр. 85.

25) Как почти всегда, Барнав и в этом случае импровизировал.

26) А также энергию. Усталость и уныние конституционалистов не коснулись его и после побоища на Марсовом поле. «Он один, - говорит Мишле (т.III., стр.178), - сохранил, казалось, жизнь, бодрость, надежду».

27) Reflexions politiques, глава XXIX. Клуб Фельянов находился в том же здании, что Ассамблея.